

ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЬ В КОНЦЕ БУМАГИ

Повесть о Фрэнсисе
Скотте Ки
Фицджеральде



Автор Шпетная Наталья

Наталья Шпетная

Зелёный огонь в конце бумаги

<https://litres.ru/74539872>

SelfPub; 2026

Аннотация

Фрэнсис Скотт Фицджеральд прожил жизнь так, будто судьба была романом, который можно переписать в последнюю минуту. Блистательные вечеринки Нью-Йорка, джазовая эпоха, Париж двадцатых, любовь к Зельде, дружба и соперничество с Хемингуэем, литературная слава, долги, больницы, Голливуд — всё это стало материалом его великой прозы и одновременно испытанием, которого он не смог избежать.

«Зелёный огонь в конце бумаги» — художественно-документальная повесть о человеке, создавшем «Великого Гэтсби» и сам оказавшемся героем американской мечты: прекрасной, ослепительной и обречённой. Это история таланта, который опережал своё время; любви, не выдержавшей собственного блеска; писателя, продолжавшего работать, когда жизнь уже требовала поставить точку.

Что скрывается за легендой о Фицджеральде — и почему его зелёный огонь продолжает светить читателям спустя десятилетия?

Содержание

Часть первая	5
I. Последняя комната	5
II. Мальчик, названный гимном	11
III. Принстон: театр для честолюбия	15
IV. Роман, написанный до выстрелов	20
V. Зельда входит в комнату	22
VI. Нью-Йорк, который не сразу аплодировал	25
VII. Книга, которая распахнула дверь	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Наталья Шпетная

Зелёный огонь

в конце бумаги

ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЬ В КОНЦЕ БУМАГИ

Повесть о Фрэнсисе Скотте Ки Фицджеральде

Основные события, даты и линии судьбы соответствуют биографии Фицджеральда; сцены, диалоги и некоторые второстепенные персонажи – художественный вымысел, построенный вокруг достоверных фактов.

Часть первая

I. Последняя комната

В Лос-Анджелесе зима не умела держать себя с достоинством.

Она приходила туда нерешительно, словно актриса второго плана, которой по ошибке дали реплику: немного серого неба, прохладный ветер в пальмах, редкая лужа у тротуара – и всё это тут же смывалось солнцем, бесстыдным, деловым, голливудским. В декабре 1940 года город по-прежнему пах бензином, апельсиновой кожурой и чужими надеждами. На Сансет-бульваре в витринах блестели туфли, которые могли бы пережить своих владелиц, а в студийных павильонах люди зарабатывали состояние на том, что изображали дождь.

Фрэнсис Скотт Ки Фицджеральд в тот день сидел в комнате Шейлы Грэм и читал.

Ему было сорок четыре. Возраст, который в Америке считали ещё почти молодостью, если у вас был хороший костюм, крепкое сердце и банковский счёт, не склонный к мелодраме. У Скотта оставались костюмы, часто слишком тщательно выглаженные, чтобы не выдать бедности; сердце работало с перебоями; банковский счёт давно походил на персонажа из дешёвой пьесы – он появлялся в самые неподходящие

моменты и портил сцену.

На столике лежали страницы романа, который он ещё надеялся закончить. Рабочее название менялось, но вокруг главного героя уже сгустился воздух – Монро Стар, кинематографический властелин, человек, который в Голливуде держал в руках не просто студии, а чужие сны. Скотт знал таких людей: они улыбались так, будто только что купили время, а потом обнаруживали, что время не продаётся даже им.

Шейла стояла у окна. Она была умна, тревожна, хороша собой той красотой, которая не просит у комнаты разрешения войти, и обладала редкой способностью слушать мужчину, даже когда мужчина говорил не с ней, а со своим прошлым. Её настоящее имя, детство, бедность, сиротская дисциплина английских учреждений – всё это она прятала так же тщательно, как другие женщины прячут возраст. В Голливуде она стала Шейлой Грэм, колумнисткой, которая знала, у кого роман, у кого новый контракт, а у кого – только новый нос.

– Ты снова на этой странице? – спросила она.

Скотт не сразу поднял голову.

– На какой?

– На той, где он понимает, что империя – это, в сущности, несколько телефонов, усталость и девушка, которая не приходит вовремя.

Он улыбнулся.

– Великолепно. Я должен был нанять тебя редактором.

– Ты бы уволил меня через два дня.

– Через три. Я справедливый человек.

Она подошла к нему и поправила край рукописи, как поправляют одеяло у больного.

– Ты сегодня выглядишь лучше.

– В Голливуде это опасный комплимент. Здесь “лучше” означает: “вас ещё можно переснять”.

Он говорил легко – почти прежним голосом, тем самым, который когда-то заставлял девушек смеяться слишком громко, редакторов платить авансы, а друзей прощать долги до следующей катастрофы. Но лёгкость была тонкой, как фарфор с трещиной. Стоило поставить чашку чуть сильнее – и всё распадалось.

За последние месяцы он действительно держался. Не пил – по крайней мере, не так, как прежде, не тем страшным способом, когда человек спорит с бутылкой и проигрывает ей не аргументами, а органами. Он гулял, работал, составлял для Шейлы списки книг, превращая её образование в тайный университет для двоих: Данте, Флобер, Китс, Маркс, святой Августин, иногда – для равновесия – детектив, чтобы мозг не ходил всё время в смокинге.

На полке стояли книги, некоторые с его пометками. Он любил учить, потому что любил восхищаться. В этом была одна из самых обаятельных его черт: он не ревновал к чужому величию, если оно было мёртвым, напечатанным и переплетённым. Живых он мог ревновать жестоко. Мёртвые ста-

новились союзниками.

– Ты обещал сегодня не волноваться, – сказала Шейла.

– Я не волнуюсь. Я думаю.

– У тебя это одно и то же.

Он отложил журнал. На секунду взгляд его стал усталым и сухим, как бумага после пожара.

– Шейла, если человек всю жизнь пытался написать одну хорошую книгу, а потом оказалось, что написал её слишком рано... это считается удачей или наказанием?

Она знала, о какой книге он говорит. Все знали, даже если не читали. *“Великий Гэтсби”* – роман, который когда-то вышел с почти насмешливо сдержанным успехом, не дав автору ни богатства, ни победного шествия. Критики похвалили; читатели прошли мимо, как мимо окна, где горит свет, но нет вывески “скидки”. Теперь эта книга стояла за спиной Скотта, как молчаливый свидетель: ты сделал это, говорила она; но почему же ты сам до сих пор не веришь?

– Это считается книгой, – ответила Шейла. – Остальное – разговоры.

Он посмотрел на неё с благодарностью, которая не успела стать улыбкой.

Потом потянулся за шоколадкой – врачи запрещали ему многое, но не всё можно запретить человеку, у которого отняли уверенность, деньги, дом, молодость и право жить рядом с женой, которую он когда-то любил так, будто любовь могла заменить медицину.

Зельда была далеко. Дочь Скотти – тоже. Принстон – ещё дальше. Сент-Пол – уже почти не город, а снег в памяти. Нью-Йорк двадцатых годов, где они с Зельдой купались в фонтане перед отелем “Плаза” и пили как люди, уверенные, что похмелье – буржуазный предрассудок, давно превратился в легенду, и легенда эта всё меньше нуждалась в своём авторе.

Скотт встал.

Есть такие мгновения, которые сначала кажутся продолжением обычного движения: человек поднимается с кресла, чтобы взять книгу, подойти к камину, сказать что-нибудь насмешливое. И только потом окружающие понимают, что жизнь уже сделала шаг в другую сторону, не предупредив никого.

Он ухватился за каминную полку.

– Скотт?

Он хотел ответить. Возможно, даже придумал ответ – остроумный, аккуратный, достойный последней сцены. Но сердце, которое столько лет выдерживало джаз, долги, бессонницы, письма из клиник, неудачные контракты, рецензии, отказы, восторги, стыд, славу, похмелье, надежду и Голливуд, внезапно решило, что с него довольно.

Он упал на ковёр в комнате женщины, которая любила его в тот период, когда миру уже было неудобно помнить, как сильно он когда-то любил его сам.

И пока Шейла кричала его имя, пока где-то внизу подъез-

жала машина, пока телефонный диск возвращался на место с равнодушным щелчком, страницы неоконченного романа лежали на столе.

На одной из них был человек, который строил фабрику грёз.

На другой – почти невидимо – мальчик из Миннесоты всё ещё смотрел на огни богатых домов и думал, что если подобрать правильные слова, двери распахнутся.

II. Мальчик, названный гимном

Его называли Фрэнсисом Скоттом Ки Фицджеральдом – имя было слишком длинным для ребёнка и слишком торжественным для бедности.

В нём слышались трубы, флаги, морская битва, национальный гимн и семейная легенда: дальний родственник, Фрэнсис Скотт Ки, написал слова “The Star-Spangled Banner”. Америка любила подобные совпадения: если уж рождаться в семье, где денег то не хватало, то совсем не хватало, пусть хотя бы имя звучит так, будто где-то на чердаке должны храниться сабля, портрет президента и сундук с облигациями.

Скотт родился 24 сентября 1896 года в Сент-Поле, штат Миннесота, в городе, где зима не играла в зиму, как в Лос-Анджелесе, а являлась с документами на право собственности. Снег там не украшал улицы, а командовал ими. Он ложился на крыши уверенно, по-хозяйски, заставлял экипажи скрипеть, мальчиков – краснеть, женщин – укутываться, а бедных родственников – особенно остро чувствовать, что богатые дома отапливаются лучше.

Его отец, Эдвард Фицджеральд, был человеком мягким, вежливым, южным по манерам и неудачливым по профессии. Он принадлежал к тому типу мужчин, которые входят в комнату так, будто извиняются перед мебелью. В Скотте

это позже вызовет нежность и ужас: нежность к отцу, ужас перед его судьбой. Неудача мужчины в Америке редко остаётся частным делом; она садится за семейный стол, ест хлеб, молчит и взрослеет вместе с детьми.

Мать, Молли Маккуиллан, происходила из ирландской католической семьи, где деньги были добыты торговлей, усилением, практичностью. Она была эксцентрична, обожала сына и имела на него те виды, которые матери называют любовью, а сыновья – пожизненным контрактом. Молли могла одеть маленького Скотта так нарядно, что он выглядел не ребёнком, а доказательством семейных амбиций.

– Ты должен быть кем-то, – говорила она ему.

– Кем? – спрашивал он.

– Не знаю, – отвечала Молли. – Но не меньше.

Это “не меньше” стало первой невидимой планкой, о которую он всю жизнь разбивал лоб – с блеском, кровью и комплиментами публики.

В детстве он рано понял, что существуют две Америки. В одной люди считали деньги; в другой – деньги считали людей. Между ними ходили приглашения на танцы, визитные карточки, школьные знакомства, фамильные серебряные приборы и тон, которым богатый мальчик мог сказать бедному: “Ах, ты тоже здесь?”

Скотт хотел быть “тоже здесь” так отчаянно, что это желание стало его первым литературным образованием.

Он учился видеть детали статуса: как сидит воротник, как

произносится название школы, как мать девочки смотрит на твою фамилию, прежде чем посмотреть на лицо. Он замечал всё. Позже это назовут стилем; сначала это было самозащитой.

Когда отец потерял работу в Procter & Gamble, семья вернулась в Сент-Пол. Для Скотта это стало уроком, более сильным, чем латинская грамматика: мужчина может однажды войти в дом среди бела дня, держа шляпу в руке, и вся семья поймёт, что в этой шляпе лежит их будущее – пустое, смятое, вежливо снятое перед работодателем.

В тот вечер, по семейной легенде, Эдвард долго молчал. Молли хлопотала слишком громко. Скотт, ещё мальчик, смотрел на отца и чувствовал не только жалость, но и страх: если неудача наследуется, как фамильная черта, нужно срочно выдумать себе другое происхождение.

Он начал писать.

Сначала – потому что так можно было стать заметным без денег. Бумага была дешевле лошадей, а воображение – доступнее клубов. Он сочинял пьесы, рассказы, школьные тексты, в которых бедный мальчик оказывался на балу, спасал ситуацию, получал девушку и всеобщие аплодисменты. Судьба, если бы умела читать ранние рукописи, улыбнулась бы: “Милый, ты почти угадал. Только аплодисменты будут короче, девушка сложнее, а счёт за вечер – больше”.

В Newman School, католическом подготовительном заведении в Нью-Джерси, он нашёл наставника – отца Сигурни

Фэя, священника с умом, вкусом и тем редким даром, который позволяет взрослому увидеть в подростке не шум, а возможность. Отец Фэй понял, что у Скотта тщеславие и талант были не врагами, а близнецами: один требовал сцены, другой мог дать на ней текст.

– Вы хотите нравиться, Фицджеральд, – сказал он однажды.

Скотт, уже тогда нарядный в мыслях даже тогда, когда костюм сидел не лучшим образом, ответил:

– Разве это преступление, отец?

– Нет. Но это плохая религия.

– А литература?

Священник посмотрел на него внимательно.

– Литература – это когда желание нравиться переживает унижение и всё равно садится работать.

Скотт запомнил это не как совет, а как пророчество, хотя в молодости пророчества обычно кажутся чем-то, что касается других.

III. Принстон: театр для честолюбия

В Принстон он приехал в 1913 году, словно в город, построенный специально для того, чтобы юноши учились желать невозможного приличным тоном.

Кампус был готический, ухоженный, почти английский, но без английской усталости. Башни, лужайки, клубы, разговоры, пиджаки, футбольные матчи, поздние огни в окнах – всё обещало принадлежность. Скотт полюбил Принстон мгновенно, как можно полюбить женщину, которая ещё не дала согласия, но уже позволила проводить себя до двери.

Он хотел быть везде: в литературных журналах, театральных постановках Triangle Club, в разговорах после ужина, в памяти тех, кто решал, кого считать блестящим. Он писал песни, скетчи, стихи, рассказы; носился между репетициями и редакциями студенческих изданий с видом человека, которому университет выдали во временное пользование и который намерен исписать его поля.

Академические занятия страдали. Латынь, математика и прочие уважаемые дисциплины мстили ему низкими оценками. Скотт относился к этому почти философски: если профессор не понимает, что перед ним будущий великий писатель, то это проблема профессора, хотя, к сожалению, зачётную книжку заполняет именно он.

В Принстоне он встретил Эдмунда Уилсона – Бани, как

его называли друзья, — человека с острым умом, крепкой начитанностью и лицом, на котором скепсис поселился раньше усов. Уилсон был тем редким другом, который способен одновременно восхищаться тобой и видеть тебя насквозь. Для Скотта это было мучительно и необходимо.

— Ты пишешь так, будто боишься, что читатель отвернётся на две секунды, — сказал Уилсон после одного рассказа.

— Читатель неблагодарен. Его нельзя оставлять без при-
смotra.

— Его нельзя всё время хватать за лацканы.

— Почему?

— Потому что однажды он решит, что ты продаёшь ему галстуки.

Скотт рассмеялся, но замечание запомнил. Уилсон стал одним из тех людей, чьё мнение ранило именно потому, что было нужно.

В те годы Скотт ещё верил, что успех — это лестница. Поступил в правильный университет, напечатался в правильном журнале, вошёл в правильный клуб, познакомился с правильной девушкой — и вот уже мир, слегка покашляв, признаёт твоё право на исключительность. Он не знал, что успех скорее напоминает вечеринку в чужом доме: музыка играет, тебя впускают, ты сияешь, а потом вдруг обнаруживаешь, что пальто пропало, хозяин тебя не помнит, а счёт почему-то принесли тебе.

В 1915 году на его пути появилась Джиневра Кинг.

Она была из тех девушек, возле которых юноши начинают говорить чуть громче, чем следует, и смеяться над собственными шутками раньше остальных. Богатая чикагская дебютантка, уверенная, ослепительная, воспитанная для мира, где любовь не отменяет брачного расчёта, а украшает его, как цветы украшают стол. Для Скотта она стала не просто первой сильной влюблённостью; она стала доказательством существования высшего света, к которому можно прикоснуться, но нельзя предъявить права собственности.

Они переписывались. Он ждал писем так, как позже будет ждать рецензий, чеков, телеграмм от Зельды, врачебных заключений, звонков продюсеров. Письмо богатой девушки имеет особый вес: оно пахнет не только духами, но и миром, который пишет тебе через шёлковую перчатку.

Однажды, в Сент-Поле, после катания на санях – или после танцев, память потом смешивает такие сцены, потому что юность всегда освещает себя декоративно, – Скотт стоял рядом с Джиневрой у окна. На улице снег отражал свет фонарей.

– Вы слишком серьёзны, – сказала она.

– Я беден. Это делает человека серьёзнее, чем он планировал.

– Вы не бедны. Вы драматичны.

– Это дешевле.

Она засмеялась, и он понял, что готов потратить жизнь на то, чтобы услышать этот смех ещё раз. В этом и состоит

опасность юности: она принимает эхо за обещание.

Роман с Джиневрой не мог окончиться иначе, чем окончился. Её семья принадлежала к миру, где бедные талантливые юноши хороши для писем, но не для брачных объявлений. Позже за Фицджеральдом потянется фраза – “бедные мальчишки не должны думать о женитьбе на богатых девушках”. Сказал ли её кто-то буквально или сама Америка прошептала её ему в ухо – не так важно. Он услышал.

И сделал то, что делают писатели: превратил унижение в материал.

Много лет спустя из таких девушек – недоступных, сияющих, невиновных и виноватых одновременно – родится Дейзи Бьюкенен. Но тогда никакой Дейзи ещё не было. Был молодой человек, который вернулся в Принстон с разбитым сердцем и немедленно принялся вести себя так, будто сердце – это литературный инструмент, слегка повреждённый, но годный к использованию.

Учёба тем временем разваливалась. Он болел, пропускал, не успевал. Его пьесы для Triangle Club имели больше значения для него, чем экзамены; университет, как всякий институт, предпочитал обратную иерархию. В 1917 году, когда Америка вступила в Первую мировую войну, Скотт покинул Принстон без диплома и записался в армию.

Он боялся умереть на войне до того, как станет знаменитым.

Это может показаться смешным, если не знать двадцати-

летних. Для них смерть – катастрофа главным образом потому, что лишает мир возможности узнать, кого он потерял.

IV. Роман, написанный до выстрелов

В армии Скотт оказался не героем окопов, а лейтенантом в ожидании отправки, которая всё откладывалась. Он носил форму с той внутренней благодарностью, какую испытывают красивые юноши к любой одежде, придающей им историческое значение.

Он служил в учебных лагерях; война шла за океаном, но её тень дисциплинировала даже тех, кто видел больше плацев, чем фронтов. В свободное время он писал роман. Он писал его так, будто состязался со смертью: если Европа проглотит его раньше публикации, пусть хотя бы рукопись останется и объяснит, что погиб не просто лейтенант Фицджеральд, а будущий автор.

Роман назывался *“Романтический эгоист”*. Название было почти диагнозом, но Скотт произносил его с гордостью. Он отправил рукопись в издательство Charles Scribner’s Sons. Оттуда пришёл отказ – не жестокий, но отказ. Молодой редактор Максвелл Перкинс, однако, заметил в рукописи живую искру и посоветовал переделать.

Перкинс был человеком сдержанным, аккуратным, одним из тех редакторов, которые не столько правят текст, сколько удерживают автора от самоубийства посредством прилагательных. Он не встретил Скотта сразу как гения с фанфарами; он сделал нечто более ценное – не закрыл дверь.

Скотт получил письмо и ходил с ним несколько часов. Отказ с надеждой – изощрённая пытка. Это как если бы девушка сказала: “Нет, но ваш почерк мне нравится”.

– Они не взяли? – спросил сослуживец, лейтенант Харпер, вымышленный малый из Канзаса, который считал писательство разновидностью простуды.

– Пока нет.

– “Пока” – это сколько?

– В литературе? От недели до посмертной славы.

Харпер присвистнул.

– Я бы выбрал артиллерию. Там хоть расписание понятнее.

В 1918 году Скотта перевели в Кэмп-Шеридан под Монтгомери, штат Алабама. Юг встретил его теплом, насекомыми, запахом пыли, цветами магнолии и девушками, которые умели говорить “нет” так, что мужчины слышали “попробуйте ещё”.

Там он встретил Зельду Сейр.

V. Зельда входит в комнату

Если Джиневра была северным сиянием богатства, то Зельда стала вспышкой фейерверка, брошенного в сухую траву.

Ей было восемнадцать. Дочь судьи Верховного суда Алабамы Энтони Сейра, младшая в большой семье, избалованная, умная, дерзкая, гибкая как танец и опасная как скука, которую не заняли вовремя. Монтгомери знал Зельду: она купалась в фонтанах, танцевала, нарушала правила, заставляла мужчин чувствовать себя одновременно победителями и идиотами. У неё была улыбка человека, который прекрасно знает, что мир устроен неправильно, но собирается извлечь из этого удовольствие.

Они встретились на танцах в кантри-клубе летом 1918 года. Скотт увидел её – и биография сделала поворот с той театральной точностью, которую в романах сочли бы слишком очевидной.

Она танцевала легко, но не покорно. Некоторые девушки следуют партнёру; Зельда, казалось, позволяла музыке сопровождать себя.

– Кто это? – спросил Скотт у знакомого офицера.

– Зельда Сейр.

– Она помолвлена?

– С кем именно? Сегодня или вообще?

Скотт попросил представить его.

Зельда посмотрела на форму, на лицо, на выражение лица – слишком жадное до судьбы, чтобы быть спокойным.

– Вы северянин, – сказала она.

– Миннесота. Это почти отдельное климатическое государство.

– Там правда все такие серьёзные?

– Только когда оттаивают.

Она рассмеялась – иначе, чем Джиневра. Смех Джиневры обещал доступ к закрытому саду; смех Зельды обещал перелезть через забор и украсть табличку “Посторонним вход запрещён”.

– Вы танцуете? – спросила она.

– Лучше, чем воюю. Но хуже, чем пишу.

– О, вы пишете?

– Роман.

– Все лейтенанты пишут романы?

– Только те, кто боится, что война закончится раньше их славы.

– Тогда вам надо торопиться, лейтенант Фицджеральд. Войны не вечны.

– А слава?

– Слава? – Она слегка склонила голову. – Слава, по-моему, просто самый шумный способ остаться одному.

Он мог бы влюбиться в неё уже за одну эту фразу. Возможно, влюбился.

Их ухаживание было стремительным, искрящимся, полным писем, обещаний, ревности и театральных жестов. Он видел в ней героиню будущего романа, Америку после войны, молодость, которая отказалась извиняться за своё существование. Она видела в нём талант, амбицию, нежность, опасность и, что немаловажно, шанс вырваться из провинциального сценария, где девушка должна быть яркой ровно до замужества, а затем светить через занавески гостиной.

Но Скотт был беден. Его будущее зависело от романа, который уже отвергли. Зельда любила блеск, и её нельзя было за это осуждать слишком просто: блеск был её естественной средой, как вода для рыбы. Она хотела не только любви, но и жизни – быстрой, нарядной, полной доказательств, что они оба не зря родились.

Война закончилась прежде, чем Скотт попал во Францию. Он вернулся не героем, а молодым человеком с формой, рукописью и невестой, чья семья смотрела на него с тем вежливым сомнением, с каким банкиры смотрят на поэтов.

Он поехал в Нью-Йорк искать заработок.

VI. Нью-Йорк, который не сразу аплодировал

Нью-Йорк после войны был городом, где будущее продавалось на каждом углу – иногда законно, чаще убедительно.

Скотт устроился в рекламное агентство Barron Collier. Ему поручали писать лозунги для трамвайных карточек. Это был полезный, хотя и унижительный опыт: он научился вмещать желание в короткую строку. Реклама – младшая сестра литературы, сбежавшая из дома и удачно вышедшая замуж.

Он снимал комнату, экономил, писал Зельде, переписывал роман, получал мало денег и много уроков. Нью-Йорк не падал к его ногам. Он вообще редко падал; обычно он толкал в спину.

Коллега по агентству, мистер Донахью, однажды заглянул через перегородку:

- Фицджеральд, у вас есть вариант про прачечную?
- “Белее снега, дешевле алиби”.
- Слишком литературно.
- “Чистые воротнички – чистая совесть”.
- Слишком религиозно.
- “Отдайте нам бельё, и ваша жена поверит в цивилизацию”.

Донахью задумался.

- Уже лучше. Только без жены. Женщины покупают.

Скотт ненавидел эту работу не потому, что она была грязной, а потому, что она слишком ясно показывала: слова могут продавать всё – мыло, воротнички, автомобили, зубной порошок. Значит, если его собственные слова пока не продавали его самого, вина была не в словах вообще, а в нём лично. Это раздражало.

Зельда ждала – но не бесконечно. Её письма становились то нежными, то холодными. Она хотела верить, что Скотт победит, но вера девушки из хорошей семьи имеет практический срок годности. В какой-то момент она разорвала помолвку или, во всяком случае, дала понять: без денег, без успеха, без ясного положения их любовь будет красивой неудачей.

Для Скотта это стало ударом и топливом.

Он вернулся в Сент-Пол, в дом родителей, с чувством человека, которого временно выселили из его судьбы. Там, в комнате на верхнем этаже, он принялся переписывать роман. Работал лихорадочно, отчаянно, яростно. Молли приносила еду и старалась не задавать вопросов. Эдвард ходил тише обычного.

– Он пишет? – спрашивал отец.

– Конечно, пишет, – отвечала мать. – Что же ему ещё делать?

В этом вопросе было больше правды, чем она предполагала. Что ему ещё делать? Продавать лозунги? Становиться уважаемым бедняком? Жить длинной жизнью осто-

рожного человека? Нет. Скотт уже поставил на карту слишком многое – любовь, самолюбие, имя, собственное представление о себе. Отступать было некуда: позади стояла не бедность даже, а обыкновенность.

Он разобрал старую рукопись, выбросил лишнее, добавил новое, придал ей нерв поколения, которое выросло на морали девятнадцатого века, а проснулось в мире автомобилей, сигарет, танцев и психоанализа. Роман получил название *“По эту сторону рая”*.

Это было название с вызовом. Скотт всю жизнь проживёт именно там – по эту сторону рая: достаточно близко, чтобы видеть огни, достаточно далеко, чтобы принимать их за обещание.

Рукопись снова ушла в Scribner’s.

Ожидание ответа было почти физическим состоянием. Он вслушивался в шаги почтальона. Письма стали существами с характером: одни приносили счета, другие – новости от друзей, третьи – ничего, и это “ничего” было самым жестоким.

В сентябре 1919 года пришло письмо от Максвелла Перкинса: роман принят.

Скотт выбежал на улицу так, будто дом загорелся счастьем.

Существует несколько версий того, как именно он праздновал эту новость. Вероятно, он рассказывал всем. Вероятно, сиял. Вероятно, был невыносим. Молодой автор, чей пер-

вый роман приняли, имеет священное право быть невыносимым в течение как минимум суток; если роман потом станет знаменитым, срок задним числом продлевается.

Он отправил телеграмму Зельде.

Можно представить, как он стоял у стойки, подбирая слова. Телеграмма не терпит литературных кружев: каждое слово стоит денег, а у него деньги всё ещё были драматическим вопросом. Но разве можно сообщить любимой девушке о начале судьбы сухо?

“РОМАН ПРИНЯТ. ГОТОВЬСЯ К СЛАВЕ. СКОТТ.”

Возможно, текст был другим. Но смысл был именно этот.

VII. Книга, которая распахнула дверь

“По эту сторону рая” вышел в марте 1920 года и сделал то, о чём мечтают первые романы и почти никогда не делают: попал в нерв времени.

Америка после войны хотела увидеть себя молодой, умной, усталой от старых запретов и готовой к новым ошибкам. Скотт дал ей зеркало, слегка льстивое, слегка насмешливое, достаточно блестящее, чтобы в него захотелось смотреться. Его герой, Эмори Блейн, был тщеславен, чувствителен, умён, сбивчив, романтичен и эгоистичен – словом, подозрительно похож на автора, но литература всегда начинается там, где автопортрет удаётся продать как портрет поколения.

Книга продавалась отлично. Рецензии спорили, но спорили громко. Скотт внезапно стал знаменит – почти за одну ночь, как потом напишут, хотя эта ночь длилась годы черновиков, отказов, долгов и унижений.

Зельда приехала в Нью-Йорк.

3 апреля 1920 года они поженились. Не было долгого испытательного срока, не было осторожного накопления мебели, не было благоразумной подготовки к семейной жизни. Они вступили в брак так, как входят в освещённый зал после того, как оркестр уже начал играть: слегка опоздав, красиво, уверенные, что вечер устроен для них.

Нью-Йорк принял их с восторгом и любопытством. Молодой писатель и его южная красавица-жена стали почти эмблемой эпохи, ещё не получившей окончательного имени. Потом Скотт назовёт её “веком джаза”, и выражение приклеится к десятилетию так прочно, будто его отчеканили на медной табличке у входа в ночной клуб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.